

ДЖОН МАКСВЕЛЛ КУТЗЕЕ

Бесчестье



Нобелевская
премия
по литературе
2003 года

PREMIUM

Annotation

Самый загадочный писатель из всех нобелевских лауреатов, дважды удостоенный премии «Букер» и ни разу не явившийся на вручение, посвятивший нобелевскую речь не кому-нибудь, а Робинзону Крузо, человек, само имя которого долго оставалось загадкой.

«Бесчестье» — возможно, главный роман писателя. Герой книги, университетский профессор, из-за скандальной истории со студенткой лишается буквально всего — и работы, и благорасположения общества.

Роман-полюмика, ответ писателя на вопрос, в свое время поставленный Францем Кафкой, — быть или не быть человеку, если жизнь низвела его в глазах окружающих до состояния насекомого, стать ли ему нулем или начать с нуля.

Джон Максвелл Кутзее

Бесчестье

J. M. Coetzee

DISGRACE

Copyright © J. M. Coetzee, 1999

All rights reserved

By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc.

350 Fifth Avenue, Suite 5300 New York, NY 10118 USA

© С. Ильин, перевод, 2015

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Глава первая

Для человека его возраста, пятидесятидвухлетнего, разведенного, он, на его взгляд, решил проблему секса довольно успешно. По четвергам, после полудня, он едет в Грин-Пойнт. Ровно в два часа он нажимает кнопку звонка на двери многоквартирного дома Виндзор-Мэншнс, называет свое имя и входит. У двери с номером 113 стоит, поджидая его, Сорайа. Он проходит напрямик в спальню, приятно пахнущую, мягко освещенную, и раздевается. Сорайа появляется из ванной, сбрасывает халат и проскальзывает в постель, под бок к нему.

— Скучал по мне? — спрашивает она.

— Я по тебе все время скучаю, — отвечает он. Он гладит ее нетронутое солнцем медово-смуглое тело; заставляет ее вытянуться рядом с собой, целует ей груди; они любят друг дружку.

Сорайа высока и стройна, с длинными черными волосами и темными, влажными глазами. Строго говоря, он достаточно стар, чтобы быть ей отцом; но с другой стороны, и опять-таки строго говоря, отцом можно стать и в двенадцать. В клиентах у нее он состоит уже год с лишком; она его более чем устраивает. Четверг обратился в оазис de luxe et volupté ^[1] посреди недельной пустыни.

В постели Сорайа сдержанна. Она вообще тиха по природе, тиха и послушна. Взгляды ее на удивление моралистичны. Ее раздражают туристки, обнажающие на пляжах грудь («вымя», как она выражается, говоря о них); она считает, что бродяг следует отлавливать и заставлять мести улицы. Как ей удастся сочетать подобные суждения с ее занятием, он не спрашивает.

Поскольку она доставляет ему удовольствие, причем неизменное, он понемногу привязывается к ней. Привязанность эта, как он полагает, в какой-то мере взаимна. Привязанность, возможно, и не любовь, но по крайности двоюродная сестра таковой. А если вспомнить малообещающее начало их связи, то можно сказать, что им улыбнулась удача, обоим: ему повезло найти ее, ей — найти его.

Он сознает, что в чувствах его присутствует самолюбование плюс нечто от супружеской зависимости. Тем не менее он не гонит их прочь.

За полуторачасовой сеанс он платит ей четыреста рандов, половину которых забирает «Благоразумная спутница». Жаль, конечно, что «Благоразумной спутнице» приходится отдавать так много. Но этому агентству принадлежит 113-я квартира, да и другие квартиры Виндзор-Мэншнс; в каком-то смысле ему принадлежит и Сорайа, вот эта ее часть, функциональная.

Одно время он подумывал о том, чтобы попросить ее встретиться с ним в свободное от работы время. Он с удовольствием провел бы с ней вечер, может быть, даже ночь. Но не следующее утро. Он слишком хорошо знает себя, чтобы подвергать Сорайю испытанию утром, — он будет холоден, мрачен, будет изнывать от желания поскорее остаться наедине с собой.

Таков уж его темперамент. Темперамент не переменишь, для этого он слишком стар. Его темперамент определился, установился. Череп, а после темперамент — два самых неподатливых атрибута человека.

Вот и следуй своему темпераменту. Это не философия, «философия» — слишком

высокое слово. Это правило, вроде правил святого Бенедикта^[2].

Здоровье у него отменное, голова варит. По профессии он ученый, филолог, вернее, был им, и филология еще овладевает, пусть и с перерывами, всем его существом. Он живет, не выходя за рамки своего дохода, своего темперамента, своих эмоциональных возможностей. Счастлив ли он? По большинству мерок — да, пожалуй что да. Впрочем, он не забывает о последнем хоре «Эдипа»: *Прежде смерти не называй человека счастливым.*

В сфере секса его темперамент, хоть и не лишенный пылкости, никогда особенной страстностью не отличался. Если бы ему пришлось выбирать для себя тотем, он выбрал бы змею. Как он себе это представляет, его соития с Сорайей смахивают на совокупление двух змей: долгое, сосредоточенное, но отчасти равнодушное, суховатое, даже в самые пылкие минуты.

Интересно, тотем Сорайи — тоже змея? Разумеется, с другими мужчинами она становится другой женщиной: *la donna e mobile*^[3]. И все же на уровне темперамента подделывать сходство с ним ей, конечно же, не удалось бы.

Притом что по роду занятий она женщина непутевая, он доверяет ей — в определенных пределах. Во время их встреч он разговаривает с ней не без некоторой свободы, иногда даже изливает перед ней душу. Ей известны обстоятельства его жизни. Она выслушала рассказы о двух его браках, знает о его дочери, о превратностях ее судьбы. Она знакома со многими его взглядами.

О своей жизни вне Виндзор-Мэншнс Сорайя не говорит ничего. Сорайя — не настоящее ее имя, в этом он не сомневается. Судя по некоторым признакам, у нее есть ребенок, а то и не один. Возможно, она вовсе и не профессионалка. Она может работать на агентство лишь день-другой в неделю, а в остальное время вести добропорядочную жизнь где-нибудь в пригороде, в Райлэндсе или Атлоне. Не совсем обычно для мусульманки, но в наше время случается всякое.

О своей работе он, не желая нагонять на нее скуку, говорит мало. На жизнь он зарабатывает в Техническом университете Кейпа, бывшем колледже Кейптаунского университета. Некогда профессор кафедры новых языков, он, поскольку кафедры древних и новых языков в ходе большой рационализации закрыли, стал теперь вторым профессором на факультете передачи информации. Как и всем «рационализированным», ему ради укрепления морального состояния разрешено читать один курс в год по прежней своей специальности — независимо от числа записавшихся на этот курс студентов. В нынешнем году он читает о поэтах-романтиках. А в остальное время ведет занятия по курсу 101 («Основные методы передачи информации») и 201 («Передовые методы передачи информации»).

Хотя он каждый день уделяет по несколько часов своей новой дисциплине, первая ее посылка, провозглашенная в учебнике по курсу 101: «Человеческое общество создало язык для того, чтобы мы могли передавать друг другу наши мысли, чувства и намерения», — представляется ему нелепой. По его личному мнению, которое, впрочем, он держит при себе, происхождение речи коренится в пении, а происхождение пения — в потребности заполнить звуками непомерно большую и несколько пустоватую человеческую душу.

За свою растянувшуюся уже на четверть века карьеру он опубликовал три книги, ни одна из которых не вызвала восторженных кликов или хотя бы перешептываний: первая была посвящена опере («Бойто и легенда о Фаусте: генезис Мефистофеля»), вторая — видениям как порождению эроса («Явление Ричарда святому Виктору»), а третья — Вордсворту и

истории («Вордсворт и время прошлого»).

Последние несколько лет он подумывает о сочинении, посвященном Байрону. Поначалу ему казалось, что может получиться еще одна книга, еще один критический опус. Но все его попытки подступиться к нему вязли в трясине скуки. Правда состояла в том, что он устал от литературной критики, устал от измеряемой ярдами прозы. Что ему на самом деле хочется написать, так это музыку: «Байрон в Италии», размышление о любви между полами, поданное в форме камерной оперы.

Пока он ведет занятия по методам передачи информации, в мозгу его мелькают фразы, мелодии, обрывки арий из ненаписанного сочинения. Как преподаватель он никогда особенно не блистал; в теперешнем же, преобразованном и, на его взгляд, изуродованном учебном заведении он более чем когда-либо чувствует себя не на месте, хотя, с другой стороны, так же чувствовали себя и его коллеги прежних дней, обремененные образованием, не отвечающим задачам, которые им приходилось решать: клирики пострелигиозного века.

Поскольку он не питает уважения к тому, что преподает, он и не производит никакого впечатления на студентов. Студенты забывают его имя, смотрят, когда он говорит, сквозь него. Их безразличие уязвляет его сильнее, чем он готов признать. Тем не менее он досконально выполняет принятые им на себя обязательства перед ними, их родителями и государством. Месяц за месяцем он дает им домашние задания, собирает письменные работы, прочитывает их и комментирует, исправляя ошибки в пунктуации, правописании и словоупотреблении, оспаривая слабые аргументы, присовокупляя к каждой работе короткие продуманные критические замечания.

Он продолжает преподавать, потому что это дает ему средства к существованию; и еще потому, что преподавание учит его смирению, открывая ему глаза на то, кто он в этом мире. Ирония происходящего не ускользает от него: тот, кто приходит учить, получает горчайший из уроков, а те, кто пришел учиться, не научаются ничему. Об этой особенности своей профессии он с Сорайей не говорит. Он сомневается, отыщется ли в *ее* профессии ирония под стать.

На кухне квартирки в Грин-Пойнте есть чайник, пластмассовые чашки, банка растворимого кофе, вазочка с пакетиками сахара. В холодильнике — запас бутылок с водой. В ванной комнате имеются мыло и стопка полотенец, в стенном шкафу — чистое постельное белье. Свою косметику Сорайя держит в небольшом кейсе. Место, предназначенное для любовных утех, ни для чего иного, функциональное, чистое, разумно организованное.

Когда Сорайя в первый раз принимала его, губы ее алели от помады, веки покрывала густая краска. Все это было липким, ему не понравилось, и он попросил ее стереть косметику. Сорайя подчинилась и с тех пор никогда не красилась. Хорошая ученица, сговорчивая, податливая.

Ему нравится делать ей подарки. На Новый год он подарил ей финифтевый браслет, еще как-то раз — малахитовую цапельку, попавшуюся ему на глаза в антикварном магазине. Ее радость, нимало не притворная, доставляет ему наслаждение.

Он сам удивляется тому, что полтора проводимых в обществе женщины часа в неделю делают его счастливым — его, привыкшего считать, будто он нуждается в жене, в доме, в браке. Оказывается, что, в конце-то концов, нужды его вполне незатейливы, незатейливы и преходящи, как у бабочки. Никаких эмоций, или, вернее, никаких, кроме самой тайной,

самой непредугадываемой: бассо остигато удовлетворенности, подобного убаюкивающему горожанина гулу городского движения или тому, чем является для селянина безмолвие ночи.

Он вспоминает Эмму Бовари, которая, проведя полдня в самозабвенном распутстве, возвращается домой — пресыщенная, с остекленевшими глазами. Так вот оно, блаженство! — говорит Эмма, разглядывая себя в зеркале. Вот блаженство, о котором твердят поэты! Что же, если бы бедной, обратившейся в призрака Эмме удалось каким-то образом отыскать дорогу в Кейптаун, он привел бы ее сюда в один из четвергов, чтобы показать, каким может быть блаженство: умеренное блаженство, умеренное.

Затем в одно субботнее утро все переменяется. У него дела в городе, он идет по улице Св. Георга, и тут глаза его натываются в толпе на стройную фигуру. Это Сорайя, ошибиться невозможно, по бокам ее двое детей, два мальчика. Они несут пакеты: ходили по магазинам.

Поколебавшись, он, не сокращая расстояния, следует за ними. Они входят в «Рыбную харчевню капитана Дорего». У мальчиков такие же блестящие волосы и темные глаза, как у Сорайи. Это могут быть только ее сыновья.

Он проходит немного дальше, поворачивает назад, во второй раз минует «Капитана Дорего». Все трое сидят за столиком у окна. На миг взгляд Сорайи встречается сквозь стекло с его взглядом.

Он всегда был городским человеком, чувствующим себя как дома в потоке тел, там, где шествует эрос и взгляды летают, как стрелы. Но об этом обмене взглядами между ним и Сорайей ему сразу же приходится пожалеть.

При свидании в следующий четверг ни он, ни она о случившемся не упоминают. Однако память об этом как-то сковывает их. Он вовсе не желает расстроить ту рискованно двойственную жизнь, которую она, вероятно, ведет. Он целиком и полностью за двойную жизнь, за тройную, за жизнь, состоящую из отдельных отсеков. В сущности, если он что-либо и чувствует, то лишь еще бóльшую нежность к ней. Ему хотелось бы сказать: «Со мной твой секрет в безопасности».

И все же и ему и ей не удастся выбросить случившееся из головы. Ее мальчики здесь, рядом, играют тихо, как тени, в углу комнаты, в которой их мать совокупляется с незнакомым мужчиной. В объятиях Сорайи он становится — на миг — их отцом: приемным отцом, отчимом, отцом-призраком. После, вылезая из постели, он чувствует, как глаза их украдкой с любопытством шарят по нему.

Мысли его невольно обращаются к другому отцу, настоящему. Имеет ли он хоть отдаленное представление о том, чем она занимается, или предпочитает блаженство неведения?

У самого у него сына нет. Детство его прошло в семье, состоящей из женщин. Мать, тетки, сестры — все они покидали его, сменяясь, как то и положено, любовницами, женами, дочерью. Всегдашнее женское общество сделало его женолюбом, пожалуй, даже бабником. При его росте, при крепком его костяке, оливковой коже, волнистых волосах он всегда мог рассчитывать на некоторую свою притягательность. Если он определенным образом, с определенным намерением смотрел на женщину, она отвечала ему — уж на это-то он мог положиться — таким же взглядом. Так он и жил — годами, десятилетиями, — и все это стало становым хребтом его существования.

И в один прекрасный день все кончилось. Могущество оставило его, не предупредив. Взгляды, которыми ему некогда отвечали, теперь скользили по нему — мимо, сквозь. Он

вдруг обратился в призрак. Если он желал женщину, ему приходилось добиваться ее, а чаще — покупать, тем или иным способом.

Он жил в хлопотной спешке промискуитета. Заводил романы с женами коллег, снимал в прибрежных барах или в Итальянском клубе туристов, спал с проститутками.

Знакомство с Сорайей произошло в тусклой маленькой гостиной, смежной с главной конторой «Благоразумной спутницы», — подъемные жалюзи, горшечные растения по углам, душок застоялого дыма. В их каталоге она проходила по разряду «Экзотика». Фотограф изобразил ее с красным цветком страстоцвета в волосах и чуть приметными морщинками в уголках глаз. Заголовок гласил: «Только после полудня». Это и решило дело: обещание зашторенных комнат, прохладных простыней, захватывающих часов.

С самого начала все сложилось точно так, как он хотел. Выстрел «в десятку». Целый год у него не было нужды снова обращаться в агентство.

И вот этот случай на улице Св. Георга и последовавшая за ним отчужденность. Сорайа выдерживала условленное расписание, но он ощущал в ней растущую холодность, она превращалась в очередную женщину и его превращала в очередного клиента.

Он довольно точно представлял себе разговоры проституток о постоянных клиентах, в особенности пожилых. Как они рассказывают друг дружке разные разности, посмеиваются и как их все-таки передергивает — точно человека, увидевшего посреди ночи таракана в раковине умывальника. Очень скоро и сам он с беспощадным изяществом обратится в такого вот таракана. Это судьба, которой ему не избежать.

В четвертый четверг после той встречи Сорайа, когда он покидает квартиру, произносит слова, к которым он так старался себя подготовить:

— У меня заболела мать. Придется прерваться, я должна побыть с ней. На следующей неделе меня здесь не будет.

— А через неделю?

— Не уверена. Зависит от ее самочувствия. Ты лучше сначала позвони.

— У меня же нет номера.

— Позвони в агентство. Я им сообщу.

Он ждет несколько дней, потом звонит в агентство. Сорайа? Сорайа от нас ушла, говорит мужской голос. Нет, связать вас с ней мы не можем, это против правил. Может, познакомитесь с какой-нибудь другой нашей сотрудницей? У нас большой выбор экзотических дам — малайки, тайки, китайки, вы только скажите, кто вам нужен.

Он проводит с другой Сорайей — похоже, имя Сорайа приобрело популярность в качестве *nom de commerce*^[4] — вечер в номере отеля на Лонг-стрит. Этой не больше восемнадцати, она неумела и, на его взгляд, вульгарна.

— Так чем ты занимаешься? — спрашивает она, раздеваясь.

— Экспорт-импорт, — отвечает он.

— Ну да, заливай, — говорит она.

На кафедре появляется новая секретарша. Он везет ее на ланч в ресторан, находящийся на благопристойном расстоянии от университетского городка, и слушает за креветочным салатом, как она жалуется на школу, в которой учатся ее сыновья. Торговцы наркотиками так и рыщут вокруг спортивных площадок, говорит она, а полиции хоть бы хны. Они с мужем уже три года стоят на учете в новозеландском консульстве, хотят эмигрировать.

— Вам-то было легче. Ну то есть какой бы ни была ситуация, вы хоть понимали, что к чему.

— Нам? — переспрашивает он. — Кому это «нам»?

— Ну, вашему поколению. А теперь люди просто выбирают, какие законы они согласны выполнять. Это же анархия. Как тут растить детей, когда кругом сплошная анархия?

Дон, так ее зовут. На втором свидании они заглядывают к нему домой и оказываются в постели. Извиваясь, впиваясь в него ногтями, только что пену изо рта не пуская, она доводит себя до возбуждения, которое в конце концов становится ему противным. Он одалживает ей расческу, отвозит назад, в университетский городок.

В дальнейшем он избегает ее, стараясь обходить стороной кабинет, в котором она работает. В ответ она бросает на него сначала обиженные, а после презрительные взгляды.

Пора кончать, довольно этих игр. Интересно, в каком возрасте Ориген^[5] себя оскопил? Не самое изящное из решений, но ведь и в старении изящного мало. По крайности, похоже на приведение в порядок письменного стола, позволяющее сосредоточиться на том, чем и следует заниматься старику, — на приготовлении к смерти.

Можно ли обратиться с подобной просьбой к врачу? Операция-то довольно простая: врачи каждый день практикуются на животных, и те переживают ее как ни в чем не бывало, если оставить в стороне некий горький осадок. Оттяпал, перевязал: при местном обезболивании, твердой руке и малой доле бесстрастия можно управиться и самому, по учебнику. Мужчина садится в кресло и — чик; зрелище не из красивых, но, с определенной точки зрения, чем уж оно некрасивее зрелища того же мужчины, ерзающего на женском теле?

Осталась еще Сорайа. Вообще-то, ему следует перевернуть эту страницу. Вместо того он обращается в детективное агентство с просьбой найти ее. Через несколько дней он получает ее настоящее имя, адрес, номер телефона. И звонит в девять утра, когда мужа с детьми, надо полагать, уже нет дома.

— Сорайа? — говорит он. — Это Дэвид. Как ты? Когда я тебя снова увижу?

Долгое молчание, потом она произносит:

— Я вас не знаю. Зачем вы лезете в мою жизнь? Я требую, чтобы вы никогда больше мне не звонили, никогда.

Требую. Скорее уж приказываю. Его удивляет визгливость, проступившая в ее тоне, — прежде на нее и намек не было. С другой стороны, чего еще ждать хищнику, влезшему к лисице в нору, в жилище ее щенков?

Он кладет телефонную трубку. Что-то вроде зависти к ее мужу, которого он ни разу не видел, ненадолго стесняет его сердце.

Глава вторая

Без четверговых интерлюдий неделя гола, как пустыня. Выпадают дни, когда он не знает, чем себя занять.

Теперь он проводит больше времени в университетской библиотеке, читая все, что удастся найти, о широком круге друзей и знакомых Байрона, добавляя заметки к тем, что уже заполнили две толстые папки. Ему нравится послеполуденное спокойствие читального зала, нравится неторопливо возвращаться под вечер домой: бодрящий зимний ветер, мерцающие мокрые улицы.

В пятницу вечером, возвращаясь длинным кружным путем — по паркам старого колледжа, он замечает впереди себя на дорожке одну из своих студенток. Ее зовут Мелани Исаакс, она слушает его посвященный романтикам курс. Не лучшая студентка, однако и не худшая: довольно умная, но без собственных мыслей.

Она не спешит, и скоро он настигает ее.

— Привет, — говорит он.

Она улыбается в ответ, кивает, улыбка ее скорее лукава, чем робка. Она маленькая, тоненькая — коротко подстриженные черные волосы, широкие, почти китайские скулы, большие темные глаза. Одевается, как правило, броско. Сегодня на ней темно-бордовая мини-юбка, горчичного цвета свитер и черные колготки; золотые финтифлюшки на поясе подобраны в тон золотым шарикам серег.

Он немного влюблен в нее. Тут нет ничего необычного: почти каждый семестр он влюбляется в ту или иную из своих подопечных. Кейптаун — город, щедрый на красоту, на красавиц.

Знает ли она, что он положил на нее глаз? Вероятно. Женщины чувствуют такие вещи, давление вождедеющих взглядов.

Только что кончился дождь; в канавах вдоль дорожки негромко журчит вода.

— Мое любимое время года и любимое время дня, — сообщает он. — Живете тут неподалеку?

— У самого парка. Делю квартиру с подружкой.

— Кейптаун — родной ваш город?

— Нет, я выросла в Джордже.

— Я живу совсем рядом. Могу я пригласить вас выпить?

Пауза, осторожная.

— Хорошо. Но я должна вернуться к семи тридцати.

Из парка они выходят в тихий жилой квартал, в котором он прожил последние двенадцать лет, сначала с Розалиндой, потом, после развода, один.

Он отпирает калитку, отпирает дверь, вводит девушку в дом. Включает свет, берет у нее сумочку. В волосах ее капли дождя. Искренне очарованный, он оглядывает ее. Мелани, с той же, что прежде, уклончивой, а может быть, и кокетливой улыбкой, опускает глаза.

На кухне он открывает бутылку «Мирласта», раскладывает по тарелкам крекеры, сыр. Когда он возвращается, девушка стоит у книжных полок и, склонив голову набок, читает названия. Он включает музыку: Моцарт, кларнетный квинтет.

Вино, музыка: ритуал, который разыгрывают мужчина и женщина. Ничего дурного в таких ритуалах нет, их придумали для того, чтобы разряжать неловкость. Но девушка,

которую он привел домой, не просто моложе его на тридцать лет — это студентка, его студентка, находящаяся под его опекой. Что бы сейчас между ними ни произошло, им придется встретиться снова как учителю и ученице. Готов ли он к этому?

— Как вам мой курс? — спрашивает он.

— Мне нравится Блейк. И еще «Wonderhorn».

— «Wonderhorn»^[6].

— А от Вордсворта я не в восторге.

— Вам не следовало бы говорить мне об этом. Вордсворт был одним из моих учителей.

Это правда. Сколько он себя помнит, в нем всегда отзывалось эхо гармоний «Прелюдии».

— Может быть, под конец курса мне удастся лучше его оценить. Может быть, он начнет нравиться мне больше.

— Может быть. Но по моему опыту, поэзия либо что-то говорит вам с первого раза, либо не говорит ничего. Проблеск откровения, проблеск отклика на него. Это как молния. Как приход влюбленности.

Приход влюбленности. Да влюбляются ли еще молодые люди, или этот механизм уже устарел, стал ненужным, чудноватым, как паровые машины? Он не в курсе, отстал от времени. Почем знать, влюбленность могла полдюжины раз выйти из моды и снова в нее войти.

— Вы-то сами стихов не пишете? — спрашивает он.

— В школе писала. Так себе были стишата. Теперь и времени не хватает.

— А пристрастия? Есть у вас какие-нибудь литературные пристрастия?

При звуке этого непривычного слова она сдвигает брови.

— На втором курсе мы занимались Адриенной Рич^[7] и Тони Моррисон^[8]. И еще Элис Уокер^[9]. Мне было очень интересно. Но пристрастием я бы это не назвала.

Так, девушка без пристрастий. Или она окольным способом предупреждает его: не лезь?

— Я думаю соорудить некое подобие ужина, — говорит он. — Присоединитесь ко мне? Все будет очень незамысловато.

Похоже, ее одолевают сомнения.

— Ну же! — говорит он. — Скажите «да»!

— Хорошо. Только мне придется позвонить.

Звонок отнимает времени больше, чем он ожидал. Он вслушивается из кухни в ее приглушенный голос, в долгие паузы.

— Чем вы собираетесь заниматься в дальнейшем? — спрашивает он несколько погодя.

— Актерским мастерством и оформлением сцены. Я пишу диплом о театре.

— Тогда по какой причине вы записались на курс романтической поэзии?

Мелани, наморщив носик, задумывается.

— Главным образом из-за атмосферы, — говорит она. — Не хотелось снова браться за Шекспира. Шекспира я проходила в прошлом году.

То, что он сооружает на ужин, и впрямь незамысловато. Тальятелли^[10] с анчоусами под грибным соусом. Он позволяет ей нарезать грибы. Остальное время она сидит на стуле, наблюдая, как он стряпает. Они едят в гостиной, открыв вторую бутылку вина. Ест она без удержу. Здоровый аппетит — для столь стройного существа.

— Вы всегда сами готовите? — спрашивает она.

— Я живу один. Не буду готовить я, так и никто не будет.

— Терпеть не могу готовку. Хотя, наверное, стоило бы научиться.

— Зачем? Если она вам так не по душе, выходите за умеющего готовить человека.

Вдвоем они мысленно созерцают эту картину: молодая жена в аляповатом платье и безвкусных драгоценностях, нетерпеливо потягивая носом воздух, влетает в квартиру; на кухне в клубах пара муж, бесцветный мистер Праведник, помешивает что-то в кастрюльке. Обмен ролями: хлеб буржуазной комедии.

— Ну вот и все, — говорит он под конец, когда блюдо с едой пустеет. — И никакого десерта, разве что вам захочется съесть яблоко или немного йогурта. Простите — не знал, что у меня будет гостя.

— Все было очень мило, — говорит она, допивая вино и вставая. — Спасибо.

— Не уходите так сразу. — Он берет ее за руку и подводит к софе. — Я хочу кое-что показать вам. Вы любите танцы? Не танцевать — танцы.

Он вставляет кассету в видеомагнитофон.

— Это фильм, снятый человеком, которого звали Норман Макларен^[11]. Довольно старый. Подвернулся мне в библиотеке. Интересно, что вы о нем скажете.

Сидя бок о бок, они смотрят фильм. Два танцора на голой сцене исполняют свои па. Снятые стробоскопически, их изображения, призраки их движений, веерами распускаются за ними, будто крылья на взмахе. Впервые увиденный четверть века назад, этот фильм по-прежнему захватывает его: миг настоящего и недолговечное прошлое этого мига, застигнутые в одном и том же пространстве.

Ему хочется, чтобы фильм захватил и девушку. Однако он чувствует, что этого не происходит.

Когда фильм кончается, она встает и проходится по комнате. Поднимает крышку пианино, ударяет по срединному *до*.

— Играете? — спрашивает она.

— Немного.

— Классику или джаз?

— Увы, не джаз.

— Сыграете мне что-нибудь?

— Не сейчас. Давно не упражнялся. В другой раз, когда мы познакомимся поближе.

Мелани заглядывает в кабинет.

— Можно посмотреть? — спрашивает она.

Он ставит новую запись: сонаты Скарлатти, музыка-кошка.

— Как у вас много Байрона, — говорит она, выходя. — Ваш любимый поэт?

— Я кое-что сочиняю о нем. О его итальянском периоде.

— Он ведь умер молодым?

— В тридцать шесть. Они все умирали молодыми. Или выдыхались. Или сходили с ума, и их сажали под замок. Но Байрон умер не в Италии. В Греции. В Италию он уехал, спасаясь от скандала, а потом обосновался в ней. Осел. У него там приключилась последняя в его жизни большая любовь. В то время у англичан было принято ездить в Италию. Они считали, что итальянцы все еще сохраняют естественность. В меньшей степени скованные условностями, более страстные.

Мелани еще раз обходит комнату.

— Это ваша жена? — спрашивает она, задержавшись перед стоящей на кофейном

столике фотографией в рамке.

— Мать. Снято, когда она была молодой.

— Вы женаты?

— Был. Дважды. Теперь нет.

Он не говорит: «Теперь я довольствуюсь тем, что подвернется». Не говорит: «Теперь я довольствуюсь шляхами».

— Хотите ликера?

Ликера Мелани не хочет, но соглашается добавить немного виски в кофе. Когда она подносит чашку к губам, он склоняется над нею и касается ее щеки.

— Вы очень красивы, — говорит он. — Надо будет подбить вас на какой-нибудь опрометчивый поступок. — Он снова прикасается к ее щеке. — Оставайтесь. Проведите со мной ночь.

Поверх чашки она бросает на него твердый взгляд.

— Зачем?

— Затем, что это ваш долг.

— Почему долг?

— Почему? Потому что красота женщины не может принадлежать только ей одной. Это часть дара, который она приносит в мир. Так что она обязана этим даром делиться.

Рука его так и покоится на ее щеке. Она не отстраняется, но и покорности не выказывает.

— А что, если я уже им делюсь? — Звук ее голоса позволяет заподозрить, что у нее перехватило дыхание. Когда за тобой ухаживают, это всегда волнует: приятно волнует.

— Тогда вам следует делиться им более щедро.

Гладкие слова, старые, как само обольщение. И все же в этот миг он верит в них. Мелани не принадлежит себе. Красота себе не принадлежит.

— От всех творений мы потомства ждем, — говорит он, — чтоб роза красоты не увядала^[12].

Не самый удачный ход. Ее улыбка лишается шаловливости, живости. Пентаметр, чей ритм был некогда столь дивной смазкой для слов змия-искусителя, теперь лишь отпугивает. Он снова обратился для Мелани в преподавателя, человека книжного, хранителя культурного наследия. Она ставит чашку на столик.

— Пора, меня ждут.

Облака разошлись, блещут звезды.

— Прелестная ночь, — говорит он, отпирая калитку. Девушка не поднимает глаз к его лицу. — Проводить вас до дома?

— Нет.

— Хорошо. Спокойной ночи.

Протянув руки, он поворачивает Мелани к себе. На миг он ощущает напор ее маленьких грудей. Потом она выскользывает из его объятий и уходит.

Глава третья

На том бы ему и остановиться. Ан нет. В воскресенье утром он едет в пустой университетский городок, проникает в канцелярию факультета. Отыскивает в шкафу с регистрационными записями карточку Мелани Исаакс и выписывает оттуда подробности: домашний адрес, адрес в Кейптауне, номер телефона.

Он набирает номер. Отвечает женский голос.

— Мелани?

— Сейчас позову. А кто это?

— Скажите ей, что звонит Дэвид Лури.

Melanie — melody: притянутая за уши рифма. Не подходит ей это имя. Переставь ударение: Meláni — темная.

— Алло?

В одном этом слове он слышит всю ее нерешительность. Слишком молода. Не знает, как с ним обходиться; лучше бы ему отпустить ее. Но он и сам пребывает во власти непонятно чего. Роза красоты: стихи бьют точно в цель, как стрела. Она не принадлежит себе; возможно, и он себе не принадлежит.

— Я подумал, может быть, вы захотите позавтракать со мной, — говорит он. — Я бы заехал за вами, ну, скажем, в двенадцать.

У нее еще остается возможность наврать что-нибудь, увильнуть. Но она в таком замешательстве, что упускает подходящий момент.

Когда он подъезжает к ее многоквартирному дому, Мелани уже ждет его на тротуаре. В черных колготках и черном свитере. Бедра узкие, как у двенадцатилетней девочки.

Он везет Мелани в Хат-бэй, к гавани. И по дороге старается растормошить ее, избавить от смущения. Расспрашивает о том, какие еще курсы она слушает. Она говорит, что играет в пьесе. Это одно из условий защиты диплома. Репетиции съедают кучу времени, говорит она.

В ресторане она почти не ест, хмуро глядит на море.

— Что-нибудь не так? Не хотите мне рассказать?

Она качает головой.

— Вас тревожат наши отношения?

— Может быть, — говорит она.

— Ну и напрасно. Не беспокойтесь. Я не позволю им зайти слишком далеко.

Слишком далеко... Что в таких случаях значит «далеко» и что — «слишком далеко»? И похоже ли ее «слишком далеко» на его?

Начинается дождь: водная пелена гуляет по пустому заливу.

— Ну что, поехали? — говорит он.

Он привозит ее к себе домой. На полу гостиной, под звуки бьющего в оконное стекло дождя, он овладевает ею. У нее чистое, простое, по-своему совершенное тело; и хотя она так и остается пассивной, происходящее доставляет ему такое наслаждение, что в миг оргазма он валится в опустошенное забытье.

Когда он приходит в себя, дождя уже не слышно. Девушка — брови чуть насуплены, глаза закрыты — лежит под ним, вяло закинув руки за голову. Его ладони покоятся под ее грубой вязки свитером, на грудях. Колготки и трусики Мелани валяются, сплетясь, на полу; его брюки спущены ниже колен. «После бури», — думает он: чистой воды Жорж Грос^[13].

Отворачивая лицо, она высвобождается, собирает одежду и выходит из комнаты. И через несколько минут возвращается одетая.

— Мне нужно идти, — шепчет она.

Он не пытается ее удержать.

На следующее утро он просыпается с ощущением полного блаженства, которое не покидает его и в дальнейшем. Мелани на занятиях отсутствует. Из своего кабинета он звонит в цветочный магазин. Розы? Нет, пожалуй, не розы. Он заказывает гвоздики.

— Красные или белые? — спрашивает женщина.

Красные? Белые?

— Пошлите двенадцать розовых, — говорит он.

— У меня нет двенадцати розовых. Может быть, послать разные?

— Ну пошлите разные.

Весь вторник из тяжелых туч, наползающих с запада на город, льет дождь. В конце дня, пересекая вестибюль здания, в котором находится факультет передачи информации, он замечает Мелани, ждущую вместе с горсткой студентов в дверях, когда поутихнет ливень. Он подходит к ней сзади, кладет руку ей на плечо.

— Подождите меня здесь, — говорит он. — Я подвезу вас до дома.

Он возвращается с зонтом. Переходя площадь по направлению к парковке, он прижимает ее к себе, чтобы укрыть от дождя. Внезапный порыв ветра выворачивает зонт наизнанку; они вдвоем неловко бегут к машине.

На ней блестящий желтый дождевик; в машине она надвигает капюшон на лоб. Лицо ее размякло; он и не глядя видит, как вздымается и опускается ее грудь. Она слизывает дождевую каплю с верхней губы. «Дитя! — думает он. — Не более чем дитя! И что я делаю?» Но сердце его, охваченное желанием, бьется неровными толчками.

Они едут в густом предвечернем потоке машин.

— Я вчера скучал по тебе, — говорит он. — У тебя все нормально?

Она не отвечает, просто смотрит на «дворники».

Остановившись на красный свет, он берет ее холодную ладонь в свою.

— Мелани! — говорит он, стараясь произнести это как можно небрежнее. Но он давно уже разучился ухаживать за девушками. Голос, который он слышит, принадлежит притворно-ласковому родителю, не влюбленному.

Он тормозит перед ее многоквартирным домом.

— Спасибо, — говорит Мелани, открывая дверцу машины.

— Ты не пригласишь меня к себе?

— Я думаю, моя соседка дома.

— А как насчет сегодняшнего вечера?

— Вечером у меня репетиция.

— Так когда я снова тебя увижу?

Она не отвечает.

— Спасибо, — повторяет она и выскальзывает из машины.

В среду она сидит в аудитории, на своем обычном месте. Они все еще занимаются Вордсвортом, шестой книгой «Прелюдии» — поэт в Альпах.

Он громко читает:

— С нагой гряды мы зрили в первый раз
Открытый пик Монблана, приуныв,
Что сей бездушный образ посягнул
На мысль живую, коей никогда
Живой уже не быть.

Вот так. Величественная белая гора, Монблан, становится причиной разочарования. Почему? Давайте начнем с глагола «посягнул». Кто-нибудь посмотрел его в словаре?

Молчание.

— Если бы вы заглянули в словарь, вы узнали бы, что «посягать» означает «покушаться», «притязать». Совершенный вид этого глагола — «посягнуть». Тучи расходятся, говорит Вордсворт, пик открывается, и мы с унынием глядим на него. Странная реакция для человека, путешествующего по Альпам. Откуда это уныние? Оттуда, говорит он, что бездушный образ, не более чем отпечаток на сетчатке глаза, покушается на то, что было некогда живой мыслью. Но в чем состояла эта живая мысль?

Опять молчание. Самый воздух, разносящий его слова, обмяк, точно парус. Человек глядит на гору: почему, мысленно жалуются они, это нужно так усложнять? Что он им может ответить? А что он сказал Мелани в тот первый вечер? Что без проблеска откровения не существует ничего. Но присутствует ли в этой комнате проблеск откровения?

Он бросает на нее быстрый взгляд. Голова девушки склонена, Мелани углубилась в текст; так это, во всяком случае, выглядит.

— То же самое слово «посягать» вновь возникает через несколько строк. Посягательство — одна из наиболее глубоких тем альпийских эпизодов поэмы. Великие архетипы разума, чистые идеи, испытывают посягательства со стороны простых чувственных образов.

Но не можем же мы день за днем жить в царстве чистых идей, отгородившись от чувственного опыта. Вопрос не в том, как нам сохранить чистоту воображения, защититься от натиска действительности. Вопрос должен ставиться так: можно ли найти для того и другого способ сосуществования?

Взгляните на пятьсот девяносто девятую строку. Вордсворт пишет о границах чувственного восприятия. Этой темы мы с вами уже касались. Когда органы чувств достигают предела своих возможностей, их способность к восприятию начинает угасать. И все же в самый миг исчезновения эта способность вспыхивает в последний раз, точно пламя свечи, на миг позволяя нам узреть незримое. Это трудное место, возможно, оно даже противоречит тому, что сказано о Монблане. И тем не менее Вордсворт, похоже, нащупывает путь к гармонии: не чистая идея, витающая в облаках, не выжженный на сетчатке зрительный образ, ошеломляющий и разочаровывающий нас своей прозаичной ясностью, но сохраняемое сколько возможно эфемерным чувство-образ как средство возбуждения, активизации идеи, которая лежит, глубоко схороненная, в почве нашей памяти.

Он замолкает. Никто ничего не понял. Он зашел слишком далеко и сделал это слишком быстро. Как вернуть их к себе? Как вернуть Мелани?

— Это вроде любви, — говорит он. — Конечно, если вы слепы, вам навряд ли вообще удастся влюбиться. Но так ли уж вы хотите увидеть любимую со всей ясностью, какую способен обеспечить ваш зрительный аппарат? Быть может, для вас же лучше будет опустить между нею и вашим взглядом завесу, чтобы возлюбленная ваша и дальше жила в ее

архетипическом облике, в облике богини?

На Вордсворта это смахивает мало, но хотя бы он их растормошил. «Архетипы? — спрашивают они себя. — Богини? Что он несет? Что знает этот старик о любви?»

Наплывает воспоминание: тот миг на полу, когда он, задрав на ней свитер, обнажил ее ладные, совершенные маленькие груди. Мелани впервые поднимает взгляд и мгновенно понимает все. Смутившись, она отводит глаза.

— Вордсворт пишет об Альпах, — говорит он. — У нас в стране Альп нет, но есть Драконовы горы, есть, хоть она и поменьше, Столовая гора, и мы забираемся туда вслед за поэтами, надеясь достичь одного из их озарений. Нам всем приходилось слышать о вордсвортовских мгновениях. — Теперь он просто произносит первые попавшиеся слова, закругляясь. — Но мгновения, подобные этим, не придут к нам, пока мы не научимся краем глаза посматривать на великие архетипы воображения, которые носим в себе.

Ну хватит! Его уже тошнит от звука собственного голоса, да и ее, вынужденную выслушивать эти завуалированные интимности, тоже стоит пожалеть. Он отпускает студентов, задерживаясь в надежде перемолвиться с нею хоть словом. Однако она ускользает в общей толпе.

Неделю назад она была не более чем одним из смазливеньких личиков в аудитории. Теперь она — сила, вторгшаяся в его жизнь, живящая сила.

В зале студенческого союза темно. Незамеченный, он садится в заднем ряду. Если не считать лысеющего человека в форме уборщика, сидящего впереди, через несколько рядов, он — единственный зритель.

Репетируется пьеса под названием «Салон „Глобус“ в часы заката»: комедия о новой Южной Африке; действие разворачивается в парикмахерском салоне в Хиллброу, Йоханнесбург. На сцене парикмахер, расфуфыренный мальчик, обслуживает двух клиентов, черного и белого. Все трое болтают между собой: шуточки, выпады. Основу катарсиса составляет, по-видимому, один главенствующий принцип: все закоснелые старые предрассудки вытаскиваются на свет божий и уносятся порывами смеха. На сцене появляется четвертый персонаж — девушка в туфлях на высокой платформе и с завитыми в колечки волосами. «Присаживайтесь, дорогуша, я вас мигом обслужу», — говорит парикмахер. «Я насчет работы, — говорит девушка, — по объявлению». У нее подчеркнута капский выговор; это Мелани. «А, тогда бери половую щетку и покажи, на что ты способна», — говорит парикмахер.

Она берет щетку и, толкая ее перед собой, бродит среди декораций. Щетка запутывается в электрическом проводе. Тут должна быть вспышка с последующими воплями и суматохой, однако что-то не заладилось с синхронизацией. Женщина-режиссер выходит на сцену, следом плетется молодой человек в черной коже, который тут же начинает ковыряться в стенной розетке. «Живее нужно, живее, — говорит режиссер, — чтобы больше походило на братьев Маркс». Она поворачивается к Мелани: «Идея понятна?» Мелани кивает.

Сидящий впереди уборщик встает и с тяжелым вздохом покидает зал. И ему бы следовало уйти. Слыханное ли дело — сидеть в темноте, подглядывая за девушкой (незваное слово «вождедея» приходит к нему)? И все же старики, чье общество ему, похоже, вот-вот предстоит разделить, — старики, бесцельно слоняющиеся по улицам в покрытых пятнами плащах, с трещинами в фальшивых зубах и пучками волос в ушах, — все они были некогда детьми Божиими, со стройными членами и ясными глазами. Можно ль винить их за то, что

они до последнего цепляются за свое место на сладостном пиршестве чувств?

На сцене возобновляется действие. Мелани тычется туда-сюда со щеткой. Хлопок, вспышка, встревоженные вопли. «Не виноватая я! — пищит Мелани. — Господи! Почему как чего, так сразу я виноватая?» Он тихо встает и следом за уборщиком уходит в наружную тьму.

На следующий день, в четыре пополудни, он приезжает к ней домой. Дверь открывает Мелани — в мятой футболке, велосипедных шортах и шлепанцах в виде сусликов, какими их изображают в комиксах, на его взгляд глухих, безвкусных.

Он приехал без предупреждения; девушка слишком удивлена, чтобы сопротивляться свалившемуся ей на голову незваному гостю. Когда он заключает ее в объятия, руки ее повисают, как у марионетки. Слова, тяжелые как дубинки, глухо гудят в нежной раковинке ее уха.

— Нет, не сейчас! — говорит она. — Вот-вот вернется кузина!

Но его уже не остановить. Он несет девушку в спальню, срывает нелепые шлепанцы, целует ее ступни, сам изумляясь чувствам, которые она в нем пробуждает. Чувства эти как-то связаны с призраком, виденным им на сцене: парик, вихлястый задок, вульгарная речь. Странная любовь! Но и в ней есть нечто от трепета Афродиты, богини пенистых валов, тут сомневаться не приходится.

Мелани не сопротивляется. Только отстраняется — отводит губы, отводит глаза. Она позволяет ему уложить ее на кровать и даже помогает ему, поднимая руки, затем бедра. Легкий озноб сотрясает ее; едва оголясь, она, как крот в нору, ныряет под стеганое одеяло и поворачивается к нему спиной.

Не изнасилование, не совсем оно, и все-таки он нежеланен, нежеланен до мозга костей. Она словно бы решила застыть на то время, пока все это длится, внутренне умереть, подобно кролику, когда на его шее смыкаются лисьи зубы. Чтобы все, что с ней делают, делалось, так сказать, вдали от нее.

— Вот-вот вернется Полин, — говорит она, когда все кончается. — Ты должен уйти. Пожалуйста.

Он подчиняется, и уже у машины на него наваливается такое уныние, такое отупение, что какое-то время он, неспособный пошевелиться, сидит, привалившись к рулю.

Ошибка, огромная ошибка. В эти мгновения Мелани, несомненно, старается очиститься от происшедшего, очиститься от него. Он так и видит ее бегущей к ванне, ступающей с закрытыми, точно у лунатички, глазами в воду. Он и сам был бы не прочь погрузиться сейчас в свою ванну.

Женщина с коротковатыми ногами, в строгом деловом костюме, пройдя мимо него, входит в дом. Это и есть кузина Полин, с которой Мелани делит квартиру и чьего неодобрения так трусит? Встряхнувшись, он отъезжает от дома.

Назавтра она на занятиях отсутствует. Что весьма неудачно, поскольку это день обязательного в середине семестра экзамена. Заполняя после занятий журнал, он помечает ее как присутствовавшую и выставляет оценку — семьдесят баллов. Внизу страницы он делает пометку карандашом: «Предварительная». Семьдесят — оценка середнячка, ни хорошая, ни дурная.

Отсутствует она и всю следующую неделю. Время от времени он звонит ей по телефону, никто не отвечает. Затем в воскресенье, в полночь, раздается звонок в дверь. Это Мелани, с

ног до головы одетая в черное, в черной вязаной шапочке. Лицо ее напряжено, он ждет резких слов, сцены.

Но сцены не следует. На самом-то деле это она испытывает смущение.

— Можно, я сегодня переночую здесь? — спрашивает она, избегая его взгляда.

— Конечно, конечно. — Облегчение переполняет его сердце. Он тянется к ней, обнимает, прижимает к себе, застывшую, окаменелую. — Входи, я заварю тебе чаю.

— Нет, чаю не надо, ничего не надо, я очень устала, мне бы просто где-нибудь упасть.

Он стелет ей в бывшей комнате дочери, целует ее на ночь и уходит. Вернувшись через полчаса, он обнаруживает Мелани, так и не раздевшуюся, крепко спящей. Он снимает с нее туфли и укрывает ее.

В семь утра, когда начинают щебетать первые птицы, он стучится в ее дверь. Мелани уже проснулась, лежит, натянув одеяло до подбородка, вид у нее измученный.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

Она пожимает плечами.

— Что-нибудь случилось? Хочешь поговорить?

Она молча качает головой.

Он садится на постель, притягивает ее к себе. И, оказавшись в его руках, она раздражается жалким плачем. Что не мешает ему ощутить укол желания.

— Ну-ну, — шепчет он, стараясь успокоить ее. — Расскажи мне, что с тобой. — Почти что: «Расскажи папочке, что случилось».

Мелани собирается с силами, пытается что-то сказать, но у нее напрочь заложен нос. Он приносит ей носовой платок.

— Можно, я немного поживу здесь? — спрашивает она.

— Поживешь? — осторожно повторяет он. Она уже не плачет, только горестная дрожь все еще сотрясает ее. — Ты уверена, что это хорошая мысль?

Хорошая ли это мысль, она не отвечает. Только теснее прижимается к нему, уткнувшись в его живот теплым лицом. Одеяло соскальзывает; на Мелани ничего, кроме майки и трусиков.

Сознает ли сама она в этот миг, что творит?

Когда он там, в парке колледжа, сделал первый ход, он полагал, что его ожидает быстрый романчик — быстро начали, быстро закончили. И вот она в его доме, что чревато новыми осложнениями. Какую игру она ведет? Нет сомнений, ему следует быть осторожным. Впрочем, ему следовало быть осторожным с самого начала.

Он вытягивается рядом с ней на постели. Последнее, в чем он нуждается, — это чтобы Мелани Исаакс переселилась в его квартиру. И все же сейчас сама мысль об этом опьяняет его. Она будет здесь каждую ночь; каждую ночь он сможет вот так же забираться в ее постель, забираться в Мелани. Все, конечно, выплывет наружу, оно всегда выплывает, поползут слухи, может быть, даже разразится скандал. Ну и что? Последний всплеск чувственного пламени, перед тем как ему угаснуть. Он отбрасывает одеяло в сторону, протягивает руку, гладит ее груди, ягодицы.

— Конечно, ты можешь остаться, — бормочет он. — Конечно.

В его спальне, за две комнаты отсюда, звонит будильник. Она отворачивается, натягивает одеяло до плеч.

— Я сейчас уйду, — говорит он. — У меня сегодня занятия. Постарайся еще поспать. В полдень вернусь, тогда мы поговорим.

Он гладит ее по волосам, целует в лоб. Любовница? Дочь? Кем ей хочется стать в глубине души? Что она предлагает ему?

Возвратившись в полдень, он находит Мелани уже одетой — она сидит за кухонным столом, поедая тост с медом и запивая все чаем. Похоже, она чувствует себя совсем как дома.

— Ну вот, — говорит он, — ты выглядишь намного лучше.

— Поспала после твоего ухода.

— Так, может, расскажешь мне, что случилось?

Она отводит глаза.

— Не сейчас, — говорит она. — Мне пора идти, я опаздываю. Объясню в следующий раз.

— И когда он будет, следующий раз?

— Сегодня вечером, после репетиции. Тебя устроит?

— Да.

Она встает, относит чашку с тарелкой к раковине (но не моет их), поворачивается к нему.

— Ты уверен, что тебе это удобно? — спрашивает она.

— Вполне.

— Да, и еще: я знаю, что пропустила много занятий, но постановка отнимает у меня все время.

— Я понимаю. Ты хочешь сказать, что театр у тебя на первом месте. Было бы лучше, если бы ты объяснила мне это раньше. Завтра придешь на занятия?

— Да. Обещаю.

Она обещает, но ниоткуда не следует, что обещание будет выполнено. Он обижен и раздражен. Мелани плохо ведет себя, слишком многое сходит ей с рук; она учится использовать его и, возможно, будет использовать и в дальнейшем. Но если ей многое сходит с рук, то ему сходит еще больше; если она ведет себя плохо, то он — гораздо хуже. В той мере, в какой они заодно, если, конечно, они заодно, он — ведущий, она — ведомая. Вот и не забывай об этом.

Глава четвертая

Он овладевает ею еще раз, на кровати в комнате дочери. Ему хорошо с ней, так же хорошо, как в первый раз; он начинает понимать движения ее тела. Она проворна, жадна до нового опыта. Если он и не ощущает в ней полностью развитой сексуальной потребности, то это лишь потому, что она молода. Одно мгновение застревает в памяти — она сцепляет ноги на его ягодицах, чтобы вдвинуть его в себя еще дальше, и, когда напрягаются ее прижатые к нему бедра, он ощущает прилив радости и желаний. Как знать, быть может, несмотря ни на что, у них есть будущее.

— Ты часто занимаешься этим? — спрашивает она после.

— Чем?

— Спишь со своими студентками? С Амандой ты спал?

Он не отвечает. Аманда — еще одна из его студенток, тоненькая блондиночка. Она ему нимало не интересна.

— Почему ты развелся? — спрашивает Мелани.

— Я разводился дважды. Дважды женился, дважды разводился.

— А что случилось с твоей первой женой?

— Это долгая история. Как-нибудь расскажу.

— У тебя есть их фотографии?

— Я не коллекционирую фотографии. И женщин тоже.

— Разве я не часть твоей коллекции?

— Нет, разумеется нет.

Она встает, обходит, собирая одежду, комнату, ничуть не стесняясь, как если бы она была одна. Он привык к женщинам, которые одеваются и раздеваются с большей застенчивостью. Но женщины, к которым он привык, не так молоды, да и фигуры у них не столь совершенные.

В тот же день, под вечер, в кабинет его входит, стукнув в дверь, молодой человек, которого он прежде не видел. Гость усаживается без приглашения, оглядывает кабинет, с видом знатока кивает, когда взгляд его набредает на книжные полки.

Молодой человек высок и жилист; у него узкая эспаньолка и кольцо в ухе; он в черной кожаной куртке и черных кожаных штанах. Он выглядит старше большинства студентов, выглядит как человек, от которого должно ждать неприятностей.

— Так вы, значит, профессор, — говорит гость. — Профессор Дэвид. Мелани рассказывала мне про вас.

— Да? И что же именно?

— Что вы ее харите.

Долгое молчание. Ну вот, думает он, я и попал в яму, которую сам вырыл. Мог бы и догадаться: девушек вроде этой задаром не раздают.

— Кто вы? — спрашивает он.

Гость будто и не слышит вопроса.

— Вы думаете, вы такой ловкач, — продолжает он. — Настоящий дамский угодник. А вот интересно, будете вы казаться себе таким же ловкачом, когда ваша жена узнает, чем вы тут занимаетесь?

— Ну хватит. Что вам нужно?

— А вы мне не указывайте, хватит или не хватит. — Теперь молодой человек говорит быстрее, угрожающей скороговоркой. — И не думайте, что можете влезть в чужую жизнь и вылезти из нее, когда вам захочется.

Свет пляшет в черных глазах пришельца. Резко наклонившись, молодой человек машет рукой, вправо, влево. С письменного стола летят бумаги.

— Довольно! Вам самое время уйти.

— «Вам самое время уйти!»! — передразнивая его, повторяет молодой человек. — Ладно. — Затем поднимается, встает, неторопливо идет к двери. — До свидания, профессор Обмылок! Но погодите, вы меня еще вспомните! — И уходит.

«Головорез, — думает он. — Она связалась с головорезом, а теперь и я с ним связан!» У него сводит желудок.

Он не ложится допоздна, ожидая Мелани, но та не приходит. Мало того, утром обнаруживается, что кто-то изуродовал оставленную им на улице машину. Шины проколоты, в замки дверец налит клей, ветровое стекло залеплено газетой, ободрана краска. Замки приходится менять; счет составляет шестьсот рандов.

— Догадываетесь, кто это сделал? — спрашивает слесарь.

— Понятия не имею, — резко отвечает он.

После этого *сoup de main*^[14] Мелани держится от него на расстоянии. Ничего удивительного: если он пристыжен, то и она тоже. Однако в понедельник она появляется на занятиях, и рядом с ней, откинувшись на спинку стула, засунув руки в карманы, сидит с выражением нахальной непринужденности молодой человек в черном, ухажер.

Обычно в аудитории стоит негромкий гул — студенты переговариваются. Сегодня тихо. Хоть он и не может поверить, будто всем известно, что происходит, студенты явно ждут его реакции на незваного гостя.

А собственно, какой? Того, что случилось с его машиной, по-видимому, мало. Ясно, что его ожидают новые сюрпризы. Что он может сделать? Сжать зубы и расплачиваться, что же еще?

— Продолжим чтение Байрона, — говорит он, утыкаясь носом в заметки. — Как мы видели на прошлой неделе, скандалы и дурная слава сказывались не только на жизни Байрона, но и на приеме, который его стихи получали у публики. Байрон-человек оказался сплавленным с собственными поэтическими созданиями — Гарольдом, Манфредом, даже Дон Жуаном.

Скандал. Жаль, что приходится говорить именно на эту тему, но импровизировать он сейчас не в состоянии.

Он бросает косой взгляд на Мелани. Обычно она старательно записывает. Сегодня же, похудевшая, измученная, она сидит сгорбясь над книгой. Сердце его невольно устремляется к ней. «Бедный птенец, — думает он, — которого я прижимал к груди!»

В прошлый раз он просил студентов прочесть «Лару». И в заметках его — сплошь «Лара». Обойти эту поэму стороной он не может. Он читает вслух:

— Среди живых он в мире этом — странник,
Отвергнутый загробным — дух-изгнанник.
Он — жертва темных сил, ему в удел
Назначивших опасности; случайно

И не напрасно ль, — он спастись успел^[15].

Что можно вывести из этих строк? Кто этот «дух-изгнанник»? Почему он именуется себя «странником среди живых»? Из какого мира пришел он?

Его давно уже перестала удивлять степень невежества студентов. Люди послехристианской, послеисторической эпохи, эпохи ликвидации грамотности, они могли бы с таким же успехом только вчера вылупиться из яиц. Поэтому он не ждет от них познаний о падших ангелах или о том, где мог бы прочесть об этих ангелах Байрон. Он ждет тура благодушных догадок, которые, если повезет, ему удастся направить в нужную сторону. Однако сегодня его встречает молчание, упорное молчание, почти ощутимо сгущающееся вокруг сидящего среди студентов чужака. Они не станут говорить, не станут подыгрывать ему, пока среди них находится посторонний, способный осудить их или посмеяться над ними.

— Люцифер, — говорит он, — ангел, низвергнутый с небес. О жизни ангелов мы знаем мало, но можно предположить, что кислород им не требуется. У себя дома Люцифер, темный ангел, не нуждался в дыхании. И вот он оказывается брошенным в странный ему «дышащий мир», в наш мир. «Странник» — существо, избирающее собственный путь, живущее в опасности и даже создающее для себя эту опасность. Почитаем дальше.

Юноша так ни разу и не заглянул в текст. Вместо этого он с легкой улыбкой на устах, улыбкой, в которой, возможно, присутствует удивление, внимает его словам.

— ...высок,
Он жертвовать другим собою мог,
Не жалостью, не долгом увлеченный,
Руководясь лишь мыслью извращенной,
Что совершить доступное ему —
Немногим лишь дано иль никому.
И та же мысль, в минуту ослепленья,
Могла его толкать на преступленья.

Итак, что за создание этот Люцифер?

К этому времени студенты уже наверняка ощутили наличие неких токов, текущих между ним и молодым человеком. Вопрос был адресован молодому человеку, и только ему одному, и молодой человек отзывается, подобно вдруг пробужденному к жизни спящему:

— Он делает то, что ему нравится. Не заботясь о том, хорошо это или плохо. Просто делает.

— Вот именно. Хорошо оно или плохо, он просто делает это. Он действует, руководствуясь не принципами, но порывами, и источник этих порывов для него темен. Прочтите несколькими строчками дальше: «безумия виною лишь сердце было в нем, не голова». Безумие сердца. Что такое «безумие сердца»?

Он просит слишком многого. Молодой человек был бы рад еще поднапрячь интуицию, он это видит. Молодому человеку хочется показать, что и он разбирается кое в чем помимо мотоциклов и модной одежды. Возможно, и разбирается. Возможно, у него даже есть

представление о том, что такое «безумие сердца». Но здесь, в аудитории, перед незнакомыми людьми, слова ему не даются. Он качает головой.

— Ну, не важно. Заметьте, что нас не просят осудить это существо с безумным сердцем, существо с неким органически присущим ему изъяном. Напротив, нас призывают понять его и ему посочувствовать. Однако всякое сочувствие имеет пределы. Ибо хоть он и живет среди нас, он не один из нас. Он именно тот, кем себя именует: чудовище. И в конечном итоге Байрон внушает нам мысль, что любить его — в глубинном, человеческом смысле этого слова — невозможно. Он обречен на одиночество.

Склонив головы, студенты записывают его слова. Байрон, Люцифер, Каин — им все едино.

С поэмой покончено. Велев студентам прочесть несколько первых песен «Дон Жуана», он покидает аудиторию раньше обычного, напоследок сказав поверх голов:

— Мелани, можно вас на несколько слов?

Она стоит перед ним, измученная, осунувшаяся. И вновь сердце его устремляется к ней. Будь они одни, он бы обнял ее, попытался развеселить. «Голубка моя», — сказал бы он ей.

Вместо этого он говорит:

— Пройдем в мой кабинет?

Они поднимаются по лестнице к кабинету, ухажер тащится следом.

— Подождите здесь, — говорит он молодому человеку и закрывает дверь перед его носом.

Мелани, понурясь, сидит перед ним.

— Дорогая моя, — говорит он, — я знаю, у тебя сейчас трудное время, и не хочу делать его еще более трудным. Но я должен поговорить с тобой как преподаватель. У меня имеются обязательства перед студентами, перед каждым из них. Чем твой друг занимается в университетском городке, это его дело. Однако я не могу позволить ему срывать занятия. Передай ему это от меня. Что касается тебя, ты должна уделять больше времени учебе. Тебе следует почаще бывать на занятиях. И сдать экзамен, который ты пропустила.

Она глядит на него в замешательстве, даже в ужасе. «Ты сам оторвал меня от всех, — словно хочет сказать она. — Ты заставил меня хранить твою тайну. Я уже не просто студентка. Как ты можешь говорить со мной подобным образом?»

Голос ее, когда она наконец открывает рот, до того тих, что он почти не слышит ее:

— Я не могу сдать экзамен, я не успела ничего прочитать.

То, что ему хочется сказать, произнести, соблюдая приличия, невозможно. Он может лишь подать ей знак и надеяться, что она поймет.

— Ты просто сдай экзамен, Мелани, как все остальные. Не важно, готова ты или не готова, главное — свалить его с плеч. Давай назначим день. Как насчет понедельника, во время обеденного перерыва? У тебя будут целые выходные для чтения.

Мелани поднимает голову, с вызовом глядит на него. Она либо не поняла, либо не желает воспользоваться предложенной лазейкой.

— В понедельник здесь, в моем кабинете, — повторяет он.

Она встает, закидывает сумку за плечо.

— Мелани, на меня возложена определенная ответственность. Сделай хотя бы вид, что сдаешь экзамен. Не усложняй положение сверх необходимого.

Ответственность: она не снисходит до ответа на это слово.

Возвращаясь тем же вечером с концерта, он притормаживает на красный свет. Чуть впереди останавливается, содрогаясь, мотоцикл, серебристый «дукачи» с двумя седоками в черном. Оба в шлемах, тем не менее он их узнает. Мелани сидит на заднем сиденье, широко раздвинув колени, оттопырив зад. Быстрая дрожь похоти сотрясает его. «Я был там!» — думает он. Затем мотоцикл рывком уходит вперед, унося ее.

Глава пятая

На экзамен она в понедельник не является. Зато в своем почтовом ящике он обнаруживает официальный бланк с отказом от слушания курса: «Студентка 7710101САМ мисс М. Исаак отказывается от посещения курса КОМ 312. Отказ вступает в силу незамедлительно».

От силы через час в его кабинете звонит телефон.

— Профессор Лури? У вас найдется минута для разговора? Моя фамилия Исаакс, я звоню из Джорджа. Моя дочь слушала ваши лекции, вы знаете, Мелани.

— Да.

— Профессор, я вот подумал, возможно, вы могли бы нам помочь. Мелани была такой хорошей студенткой, а теперь она говорит, что хочет все бросить. Для нас это большое потрясение.

— Не уверен, что понял вас.

— Она хочет оставить учебу и найти себе работу. Разве это не расточительство — провести три года в университете, хорошо учиться и вдруг перед самым концом бросить все? Вот я и подумал, не могу ли я попросить вас, профессор, переговорить с ней, привести ее в чувство?

— А сами вы с Мелани не говорили? Вам известно, что стоит за ее решением?

— Мы, ее мать и я, все выходные проговорили с ней по телефону, но никакого толку от нее не добились. Она очень увлечена пьесой, в которой играет, так что, может быть, она, ну, знаете, перетрудилась, перенапряглась. Она все принимает очень близко к сердцу, профессор, такая уж она по натуре, очень увлекающаяся. Но если вы поговорите с ней, может быть, вам удастся убедить ее еще раз все обдумать. Она вас так уважает. Не хочется, чтобы все эти годы оказались потраченными впустую.

Итак, Мелани-Melani с ее восточными побрякушками и глухотой к Вордсворту все принимает близко к сердцу? А он и не догадывался. Каких еще ее качеств он не угадал?

— Не знаю, мистер Исаакс, насколько я гожусь для разговора с Мелани.

— Годитесь, профессор, конечно годитесь! Мелани вас так уважает!

«Уважает? Ваши сведения устарели, мистер Исаакс. Ваша дочь вот уж несколько недель как утратила всякое уважение ко мне. И имеет на то основания». Вот что ему следует сказать. Взамен он говорит:

— Хорошо, я посмотрю, что можно сделать.

Ничего у тебя не получится, говорит он себе, положив трубку. Папаша Исаакс из далекого Джорджа не забудет этого разговора со всеми твоими увертками и враньем. «Я посмотрю, что можно сделать». Почему было не признаться во всем? «Я тот самый червяк, который прогрыз ваше яблочко, — следовало бы сказать ему. — Как я могу помочь вам, когда я-то и есть причина вашей беды?»

Он звонит ей домой и попадает на кухню Полин.

— Мелани недоступна, — ледяным голосом сообщает Полин.

— Что значит недоступна?

— Это значит, что она не хочет с вами разговаривать.

— Передайте ей, — говорит он, — что я звонил по поводу ее решения бросить учебу. Объясните, что оно опрометчиво.

В среду занятия складываются из рук вон плохо, в пятницу и того хуже. Студентов мало, только посредственные, пассивные, со всем соглашающиеся. Объяснение этому может быть лишь одно. Все вышло наружу. Он находится в деканате, когда кто-то произносит за его спиной:

— Где я могу найти профессора Лури?

— Это я, — не успев подумать, отвечает он.

Мужчина, задавший вопрос, невысок, тощ, сутуловат. На нем великоватый ему синий костюм, источающий запах сигаретного дыма.

— Профессор Лури? Мы с вами разговаривали по телефону. Исаакс.

— Да. Здравствуйте. Может быть, пройдем в мой кабинет?

— В этом нет необходимости.

Мужчина некоторое время молчит, собираясь с духом, потом набирает побольше воздуха в грудь.

— Профессор, — говорит он, сильно нажимая на это слово, — возможно, вы человек очень образованный и так далее, но то, что вы сделали, дурно. — Он замолкает, качает головой. — Дурно.

Две секретарши даже не пытаются скрыть любопытство. В деканате присутствуют и студенты; когда посетитель повышает голос, все они замолкают.

— Мы отдали нашу дочь в руки подобных вам, полагая, что вам можно доверять. Если не доверять университету, то тогда кому же? Нам и в голову не приходило, что мы посылаем дочь в гадюшник. Вы, может быть, и занимаете высокое положение, и степени у вас есть и такие и сякие, но мне на вашем месте было бы очень стыдно за себя, и да поможет мне Бог! Если я что-то не так понял, вам самое время сказать об этом, да только сомневаюсь, что я не прав, вон у вас и на лице все написано.

Действительно, самое время. Имеющий что сказать да скажет. Но он стоит, лишившись дара речи, кровь гулко ухает в ушах. Гадюка. Что тут отрицать?

— Простите, — бормочет он, — у меня дела. — И, повернувшись, точно деревянный, уходит.

Исаакс следует за ним по заполненному людьми коридору.

— Профессор! Профессор Лури! — восклицает он. — Вам не удастся так просто уйти! Вы еще не слышали главного, я вам сейчас скажу!

Так все и начинается. На следующее утро — редкостная распорядительность — он получает из офиса вице-ректора (работа со студентами) письмо с извещением, что на него подана жалоба, подпадающая под статью 3.1 университетского Кодекса поведения. Его просят при первой же возможности связаться с офисом.

Извещение, пришедшее в конверте с пометкой «Конфиденциально», сопровождается копией упомянутого кодекса. Статья 3 трактует о домогательствах или преследованиях по расовым, этническим и религиозным мотивам, на основании половых различий, сексуальных предпочтений или физической немоги. Статья 3.1 посвящена преследованию студентов преподавателями и соответствующим домогательствам.

Еще в одном документе описывается структура и правомочность дисциплинарного комитета. Пока он читает, сердце неприятно колотится. К середине документа внимание его начинает рассеиваться. Он запирает дверь кабинета и сидит с листком бумаги в руке, пытаясь представить себе, что же произошло.

Он уверен, сама Мелани такого шага не сделала бы. Она слишком простодушна, слишком не осведомлена о своих возможностях. За всем этим наверняка стоит тот человек в плохо сидящем костюме, он и кузина Полин, дурнушка, дуэнья. Должно быть, они уговорили ее, измотали и в конце концов свели в ректорат.

— Мы хотим подать жалобу, — надо думать, сказали они.

— Подать жалобу? Какого рода жалобу?

— Жалобу личного характера.

— Насчет домогательств, — вероятно, вставила кузина Полин; Мелани так и стояла сконфуженная, — жалобу на профессора.

— Пройдите в комнату номер такой-то.

В комнате номер такой-то он, Исаакс, осмелел:

— Мы хотим подать жалобу на одного из ваших профессоров.

— Вы хорошо все обдумали? И действительно этого хотите? — следуя заведенному порядку, спросили у него.

— Да, мы действительно этого хотим, — ответил он, глядя на дочь, предоставляя ей возможность возразить.

Нужно заполнить бланк. Перед ними кладут бланк и перо. Рука берет перо, рука, которую он целовал, рука, знающая его очень близко. Сначала имя жалобщика: Мелани Исаакс, аккуратными печатными буквами. Рука колеблется над столбиком квадратов, выбирая, какой пометить. «Вот тут», — указывает желтый от никотина палец отца. Колебания затухают, рука опускается, ставит X, этот крест праведников: «J'accuse»^[16]. Теперь графа, отведенная для имени обвиняемого. *Дэвид Лури*, пишет рука, *профессор*. И наконец, в самом низу листа, дата и подпись: арабеска «М», «е» с четкой петелькой, завитушка последней «с».

Дело сделано. Два имени на листке бумаги, его и ее, бок о бок. Двое в постели, уже не любовники, но враги.

Он звонит в офис вице-ректора, ему велят прийти туда к пяти, по окончании рабочего дня.

В пять он ждет в коридоре. Появляется Арам Хаким, молодой, элегантный, приглашает его войти. В комнате еще двое: Элайн Винтер, заведующая его кафедрой, и Фародиа Рассул с факультета социологии, председатель университетского комитета по дискриминации.

— Время уже позднее, Дэвид, причина, по которой мы собрались, известна, — говорит Хаким, — поэтому давайте сразу перейдем к сути дела. Какой подход к нему будет наилучшим?

— Для начала расскажите мне, в чем состоит жалоба.

— Очень хорошо. Речь идет о жалобе, поданной мисс Мелани Исаакс. А также, — он оглядывается на Элайн Винтер, — о некоторых имевших ранее место нарушениях, по-видимому связанных с мисс Исаакс. Элайн?

Инициатива переходит к Элайн Винтер. Ей он никогда не нравился, она считает его пережитком прошлого, от которого чем быстрее избавишься, тем и лучше.

— У нас есть вопросы относительно посещения занятий мисс Исаакс, Дэвид. По ее словам — я разговаривала с ней по телефону, — за последний месяц она присутствовала на занятиях всего два раза. Если это так, вам следовало доложить об этом. Она утверждает также, что пропустила экзамен. Между тем, — Элайн заглядывает в лежащую перед ней

папку, — согласно представленным вами ведомостям, посещаемость у нее безупречная, а за экзамен она получила семьдесят баллов. — Элайн недоуменно глядит на него. — Стало быть, если только у нас не имеется двух Мелани Исаакс...

— Имеется только одна, — говорит он. — Мне нечего сказать в свое оправдание.

Плавно вступает Хаким:

— Друзья, сейчас не время и не место для решения серьезных вопросов. Единственное, что нам следует сделать, — он окидывает взглядом двух других, — это уточнить процедуру. Вряд ли я должен говорить вам, Дэвид, что все будет происходить на строго конфиденциальной основе, могу вас в этом заверить. Ваше доброе имя не пострадает, как и имя мисс Исаакс. Будет образована комиссия. Ее задача — установить, имеются ли основания для дисциплинарных мер. Вы или ваш поверенный получаете возможность оспорить состав комиссии. Слушания будут проходить при закрытых дверях. Тем временем, пока комиссия не выработает рекомендаций для ректора, а ректор не примет соответствующих мер, все будет идти по-прежнему. Мисс Исаакс официально отказалась от посещения проводимых вами занятий, от вас же ожидается, что вы воздержитесь от каких-либо контактов с ней. Я ничего не пропустил? Фародиа, Элайн?

Доктор Рассул, поджав губы, качает головой.

— Дела о домогательстве всегда сложны, Дэвид, сложны и неприятны, но мы считаем принятые нами процедуры достойными и справедливыми, так что мы просто выполним их шаг за шагом, как положено. Я же посоветовала бы вам ознакомиться с ними и, может быть, проконсультироваться с юристом.

Он хочет ответить, но Хаким предостерегающе поднимает руку:

— Не принимайте пока никаких решений.

Ну, хватит!

— Не указывайте мне, что делать, я не ребенок.

И он в бешенстве покидает комнату. Однако здание заперто, привратник ушел домой. Заперт и задний выход. Приходится просить Хакима, чтобы тот его выпустил.

Льет дождь.

— Давайте-ка ко мне под зонт, — говорит Хаким и потом, уже у машины: — Между нами, Дэвид, хочу сказать, что очень вам сочувствую. Правда. Эти вещи бывают чертовски неприятными.

Он знаком с Хакимом многие годы, они вместе играли в теннис — когда он еще играл в теннис, — но сейчас он не в том настроении, чтобы вести дружескую мужскую беседу. Сердито пожав плечами, он забирается в машину.

Разумеется, никакой конфиденциальностью и не пахнет, разумеется, уже пошли толки. Иначе почему, когда он входит в профессорскую, все разговоры обрываются и повисает тишина, почему молодая коллега, с которой он до сих пор пребывал в самых сердечных отношениях, ставит чайную чашку на стол и, глядя сквозь него, покидает комнату? Почему на первое занятие по Бодлеру приходят всего двое студентов?

Мельница слухов, думает он, вертится день и ночь, перемалывая репутации. Сообщество праведников, совещающихся по углам, перезванивающих, закрыв предварительно двери. Ликующий шепот. Schadenfreude^[17]. Сначала приговор, а там уж и суд.

Он берет себе за правило, проходя по коридорам факультета, держать голову высоко.

Он встречается с адвокатом, который занимался его разводом.

— Давайте первым делом выясним, — говорит адвокат, — насколько правдивы

обвинения.

— Достаточно правдивы. У меня был роман с девушкой.

— Серьезный?

— А что, его серьезность способна улучшить или ухудшить мое положение? По наступлении определенного возраста все романы серьезны. Как и сердечные приступы.

— Ну что же, исходя из стратегических соображений, я посоветовал бы вам подрядить в качестве вашего представителя женщину, — он называет два имени, — и постараться уладить все частным порядком. Вы принимаете на себя определенные обязательства, возможно, на время уходите в отпуск, в обмен университет уговаривает девушку или ее родню снять обвинения. Это лучшее, на что вы можете рассчитывать. Вам показывают желтую карточку, вы не спорите. Сведите ущерб до минимума и подождите, пока не утихнет скандал.

— Какого рода обязательства?

— Групповая психотерапия. Безвозмездная работа на благо университетской общины. Лечение у аналитика. Это уж как вы с ними сторгуетесь.

— Лечение? Я что, нуждаюсь в лечении?

— Поймите меня правильно. Я лишь говорю, что одним из предложенных вам вариантов может оказаться лечение у аналитика.

— Дабы привести меня в порядок? Исцелить? Избавить от непотребных желаний?

Адвокат пожимает плечами:

— Все, что угодно.

В университетском городке проводится Неделя распространения информации об изнасилованиях. Союз «Женщины против насильников», ЖПН, объявляет двадцатичетырехчасовое бдение в знак солидарности с «недавними жертвами». Ему под дверь подсовывают брошюрку «ЖЕНЩИНЫ РАССКАЗЫВАЮТ». Внизу обложки карандашом накорябано: «*Твои дни сочтены, Казанова*».

Он обедает с Розалиндой, своей последней женой. Они расстались восемь лет назад и медленно, опасно снова сумели стать друзьями, в своем роде. Ветераны войны. Его радует то, что она все еще живет поблизости, возможно, и она испытывает по отношению к нему то же чувство. По крайней мере, есть человек, на которого можно будет положиться, когда случится худшее: падение в ванной, кровь в стуле.

Они разговаривают о единственном плоде его первого брака, о Люси, живущей теперь в Восточном Кейпе.

— Возможно, я скоро увижусь с ней, — говорит он. — Я собираюсь попутешествовать.

— В разгар семестра?

— Семестр почти закончился. Осталось две недели — потом все.

— Это как-то связано с твоими проблемами? Я слышала, у тебя проблемы.

— Где ты это слышала?

— Да ходят разговоры, Дэвид. Всем известно о твоём последнем романе, причем в самых смачных подробностях. И нет человека, которому хотелось бы заткнуть болтунам рот, — кроме тебя, разумеется. Позволено мне будет сказать, какого дурака ты сваял?

— Нет, позволено не будет.

— Я так и так скажу. Все это глупо и некрасиво в придачу. Не знаю, как ты управляешься по части секса, да, собственно, и знать не хочу, но *этот* способ определенно не годится. Тебе сколько — пятьдесят два? И ты думаешь, молодая девица может испытывать

хоть какое-то удовольствие, ложась в постель с женщиной твоего возраста? Думаешь, ей приятно любоваться тобой в разгар твоей... Ты хоть раз об этом подумал?

Он молчит.

— Не жди от меня сочувствия, Дэвид, и ни от кого другого тоже не жди. Ни сочувствия, ни снисхождения — не в наши дни и не в твоём возрасте. Все набросятся на тебя, и правильно сделают. Нет, ну скажи, как ты мог?

Знакомый тон, тон последних лет их супружеской жизни, тон страстных взаимных упреков. Даже Розалинда, надо полагать, сознает это. И возможно, она права. Возможно, у молодых есть право на то, чтобы их защищали от необходимости созерцать стариков, содрогающихся в корчах страсти. В конце концов, для того и существуют шлюхи: чтобы сносить экстаические конвульсии малоприятных самцов.

— Ну хорошо, — продолжает Розалинда, — так ты говоришь, что собираешься повидаться с Люси?

— Да, я думаю уехать, когда закончится разбирательство, и провести с ней какое-то время.

— Разбирательство?

— На следующей неделе начинает заседать дисциплинарный комитет.

— Быстро они. Ладно, повидаться ты с Люси, а что потом?

— Не знаю. Не уверен, что мне разрешат вернуться в университет. Собственно, я не уверен и в том, что захочу вернуться.

Розалинда качает головой:

— Бесславный конец карьеры, тебе не кажется? Я не спрашиваю, стоила ли того девушка. Но ты-то что будешь делать? И как насчет пенсии?

— Придется как-то договориться с ними. Не могут же они оставить меня без гроша.

— Не могут? Не будь так наивен. Сколько ей лет — твоей прелестнице?

— Двадцать. Совершеннолетняя. Достаточно взрослая, чтобы знать, чего она хочет.

— Уверяют, будто она наглоталась снотворного. Это правда?

— Насчет снотворного сведений не имею. По-моему, вранье. Кто тебе это сказал?

Розалинда пропускает вопрос мимо ушей.

— Она была в тебя влюблена? Ты ей изменял?

— Нет. Никогда.

— Почему же она подала жалобу?

— Откуда мне знать? Она мне душу не раскрывала. Там, за сценой, происходили какие-то битвы, в подробности которых меня не посвятили. Имеется ревнивый молодой человек. Разгневанные родители. Должно быть, она в конце концов сдалась. Для меня все было полной неожиданностью.

— Думать надо было, Дэвид. Ты слишком стар, чтобы путаться с чьими-то детьми. Тебе следовало ожидать худшего. Как бы там ни было, все это очень унижительно. Честное слово.

— Ты не спросила, любил ли я ее. Может, спросишь заодно и об этом?

— Ладно. Любил ли ты молодую женщину, извалявшую твоё имя в грязи?

— Она не несет за это ответственности. Не стоит ее винить.

— Не стоит ее винить! Ты, собственно, на чьей стороне? Конечно, я ее виню! И ее, и тебя. Вся эта история постыдна от начала и до конца! Постыдна и вульгарна. И я не стану извиняться за эти слова.

В прежние времена он тут бы и взвился. Но не сегодня. Они с Розалиндой отрастили,

чтобы защищаться друг от дружки, по толстой шкуре.

Назавтра Розалинда звонит ему по телефону.

— Дэвид, ты заглядывал в сегодняшний «Аргус»?

— Нет.

— Ну так крепись. Там статья о тебе.

— И что в ней сказано?

— Это ты уж сам прочитай.

Статью он находит на третьей странице. «Профессор обвиняется в сексе» — так она озаглавлена. Он пробегает первые строки: «...должен предстать перед дисциплинарным комитетом по обвинению в сексуальном домогательстве. ТУК старательно замалчивает самое последнее в череде скандальных событий, включающей мошенничества с выплатой стипендий и наличие, как утверждают, целой сети, которая занимается предоставлением услуг сексуального характера и базируется в студенческих общежитиях. Получить какие-либо комментарии у Лури (53 г.), автора книги об английском певце природы Уильяме Вордсворте, нам не удалось».

Уильям Вордсворт (1770–1850), певец природы. Дэвид Лури (1945–?), обесчещенный ученик и комментатор названного Уильяма Вордсворта. Благословен, младенец, будь. Нет, не изгнанник он. Благословенно будь, дитя.

Глава шестая

Слушания проходят в комнате, расположенной справа от кабинета Хакима. Его вводят туда и усаживают в конце стола, во главе коего восседает сам Манас Матабане, профессор истории религии, возглавляющий разбирательство. Слева от Манаса — Хаким, его секретарь, и молодая женщина, по виду студентка; справа — три члена комиссии Матабане.

Он не нервничает. Напротив, чувствует полную уверенность в себе. Сердце бьется ровно, он хорошо выспался. Тщеславие, думает он, опасное тщеславие игрока; тщеславие и самодовольство. Состояние духа определенно неуместное. Ну и черт с ним.

Он кивком приветствует членов комиссии. Двое ему знакомы: Фародиа Рассул и Десмонд Суортс, декан технологического факультета. Третья, согласно лежащим перед ним документам, преподает в школе бизнеса.

— Собравшаяся здесь комиссия, профессор Лури, — открывает заседание Матабане, — не обладает никакой властью. Она может только выработать рекомендации. Более того, вы вправе оспорить ее состав. Поэтому разрешите мне спросить: есть ли среди членов комиссии кто-либо, предвзято, по вашему мнению, к вам относящийся?

— Оспаривать состав комиссии в смысле юридическом я бы не стал, — отвечает он. — У меня имеются некоторые сомнения философского толка, но говорить о них здесь, я полагаю, неуместно.

Общее шевеление, шарканье.

— Я думаю, нам следует ограничиться юридическими рамками, — говорит Матабане. — Итак, к составу комиссии у вас претензий нет. Имеются ли у вас возражения против присутствия студентки? Она здесь в качестве наблюдательницы от Коалиции против дискриминации.

— Я не боюсь комиссии. И не боюсь наблюдателей.

— Очень хорошо, перейдем к делу. Первым из жалобщиков является мисс Мелани Исаакс, студентка театрального факультета. У каждого из нас есть копия ее заявления. Следует ли мне комментировать это заявление, профессор Лури?

— Насколько я понимаю, господин председатель, мисс Исаакс лично здесь не появится?

— Комиссия заслушала мисс Исаакс вчера. Позвольте мне еще раз напомнить вам, что это не суд, а расследование. Регламент, которого мы придерживаемся, не есть регламент судопроизводства. Вы усматриваете в этом какую-либо проблему?

— Нет.

— Второе обвинение, связанное с первым, — продолжает Матабане, — поступило из отдела учета успеваемости студентов, оно касается точности посвященных мисс Исаакс регистрационных записей. Обвинение сводится к тому, что мисс Исаакс не посещала всех занятий, а также не сдавала письменные работы и не прошла экзамен, между тем как все оценки вы ей выставили.

— Это все? Других обвинений нет?

— Это все.

Он делает глубокий вдох.

— Я уверен, что у членов комиссии найдутся занятия поинтереснее, чем копание в истории, о которой не может быть двух мнений. Я признаю себя виновным по обоим обвинениям. Выносите приговор, и давайте жить дальше.

Хаким склоняется к Матабане. Они вполголоса переговариваются.

— Профессор Лури, — говорит Хаким, — я вынужден повторить, что это комиссия по расследованию. Ее цель состоит в том, чтобы выслушать обе стороны и выработать рекомендации. И я снова спрашиваю, не лучше ли, если вас будет представлять кто-нибудь хорошо знакомый с нашими процедурами?

— Меня не надо представлять. Я вполне способен представлять себя сам. Правильно ли я понял, что слушание будет продолжено, несмотря на сделанное мной заявление?

— Мы хотим дать вам возможность изложить вашу точку зрения.

— Я ее уже изложил. Я виновен.

— Виновны в чем?

— В том, в чем меня обвиняют.

— Мы с вами ходим по кругу, профессор Лури.

— Во всем, о чем заявляет мисс Исаакс, и в подделке ведомостей.

Тут встречается Фародиа Рассул:

— Вы говорите, профессор Лури, что не оспариваете заявление мисс Исаакс, но вы хотя бы прочли его?

— Я не имею ни малейшего желания читать заявление мисс Исаакс. Я с ним согласен. Я не вижу причин, по которым мисс Исаакс стала бы лгать.

— Но не благоразумнее ли было бы прочесть заявление, прежде чем с ним соглашаться?

— Нет. В жизни есть вещи поважнее благоразумия.

Фародиа Рассул откидывается на спинку стула.

— Весьма по-донкихотски, профессор Лури, однако можете ли вы позволить себе подобное донкихотство? На мой взгляд, нам, возможно, следует защитить вас от вас же самого. — И она посылает Хакиму замороженную улыбку.

— Вы говорите, что не обращались за советом к адвокату. Но хоть с кем-нибудь вы консультировались — со священником, к примеру, или психологом? Готовы ли вы к тому, чтобы подвергнуться психотерапии?

Вопрос задан молодой женщиной из школы бизнеса. Он внутренне ошетинивается.

— Нет, я не думал о таком обследовании и не намерен его проходить. Я взрослый человек. И в психотерапии не нуждаюсь. Она мне не поможет. — Он обращается к Матабане: — Я признал себя виновным. Существует ли причина, по которой мы должны продолжать эти дебаты?

Матабане шепотом совещается с Хакимом.

— Предлагается объявить перерыв, — говорит Матабане, — чтобы комиссия смогла обсудить сказанное профессором Лури.

Все кивают.

— Профессор Лури, могу я попросить вас и мисс ван Вик подождать несколько минут за дверью, пока мы будем обмениваться мнениями?

Вместе со студенткой-наблюдательницей он переходит в кабинет Хакима. Ни он, ни она не произносят ни слова; чувствуется, что девушке не по себе. «Твои дни сочтены, Казанова». Ну и что она думает о Казанове теперь, встретясь с ним лицом к лицу?

Их зовут обратно. Атмосфера в комнате так себе, кисловатая, на его взгляд, атмосфера.

— Итак, — произносит Матабане, — резюмирую: профессор Лури, вы сказали, что соглашаетесь с истинностью выдвинутых против вас обвинений?

— Я согласен со всеми утверждениями мисс Исаакс.

— Доктор Рассул, вы хотите что-то сказать?

— Да. Я прошу занести в протокол мой протест против поведения профессора Лури, которое представляется мне по сути своей уклончивым. Профессор Лури говорит, что принимает обвинения. Когда же мы пытаемся выяснить у него, что он, собственно говоря, принимает, мы сталкиваемся с тонким издевательством с его стороны. Меня это наводит на мысль, что он принимает обвинения лишь на словах. В случае, который, подобно этому, отличается обилием нюансов, общество в целом имеет право...

Он не может позволить ей продолжать.

— Нет в этом случае никаких нюансов, — огрызается он.

— Общество в целом имеет право знать, — продолжает она, с приобретенной долгим опытом легкостью перекрикивая его, — что конкретно признаёт профессор Лури и за что ему выносятся порицание.

Матабане:

— Если оно ему выносятся.

— Если оно ему выносятся. Мы не выполним свой долг, если не достигнем полного понимания ситуации, если не сможем с полной ясностью указать в наших рекомендациях, за что профессору Лури следует вынести порицание.

— Что касается понимания, доктор Рассул, то тут, я в этом уверен, мы достигли полной ясности. Вопрос в том, достиг ли ее профессор Лури.

— Совершенно верно. Вы очень точно выразили именно то, что я хотела сказать.

Самое умное в его положении — помалкивать, но нет, не получается.

— То, что происходит в моей голове, это мое дело, Фародиа, а отнюдь не ваше, — говорит он. — Вам же, если честно, нужна не та или иная реакция с моей стороны, а исповедь. Так вот, исповедоваться я не стану. Я сделал заявление, это мое право. Виновен по всем статьям. Таково мое заявление. Дальше этого я заходить не собираюсь.

— Господин председатель, я чувствую себя обязанной внести протест. Вопрос вышел за рамки обычных формальностей. Профессор Лури признает свою вину, но я спрашиваю себя, действительно ли он ее признает или просто делает вид в надежде, что его дело похоронят под грудой бумаг и забудут? Если он просто делает вид, я требую подвергнуть его самому суровому наказанию.

— Позвольте мне снова напомнить вам, доктор Рассул, — говорит Матабане, — что подвергать кого-либо наказанию — не наша прерогатива.

— В таком случае мы должны рекомендовать подвергнуть профессора Лури самому суровому наказанию. А именно — немедленному увольнению с лишением пенсии и любых привилегий.

— Дэвид? — Это голос Десмонда Суортса, до сей поры молчавшего. — Дэвид, уверены ли вы, что избрали наилучшую в вашей ситуации линию поведения? — Десмонд поворачивается к председателю. — Господин председатель, как я уже говорил в отсутствие профессора Лури, я считаю, что мы, члены университетского сообщества, не должны относиться к нашему коллеге как холодные формалисты. Дэвид, вы действительно не хотите попросить, чтобы мы отложили слушание, дав вам время подумать и, возможно, проконсультироваться с кем-либо?

— Зачем? О чем я должен думать?

— О серьезности вашего положения, которую вы, по-моему, не вполне осознаете. Если говорить откровенно, вы того и гляди лишитесь работы. А это в наше время не шутка.

— И что вы мне советуете? Убрать из моего тона то, что доктор Рассул именует тонким издевательством? Залиться слезами искреннего раскаяния? Этого будет довольно, чтобы уцелеть?

— Возможно, вам трудно в это поверить, Дэвид, но сидящие за этим столом вам не враги. Нам тоже случается переживать минуты слабости, каждому из нас, мы всего только люди. Ваш случай не уникален. Мы были бы рады дать вам возможность продолжить вашу карьеру.

Мягко вступает Хаким:

— Мы были бы рады, Дэвид, помочь вам найти выход из этого кошмара.

Это его друзья. Они хотят спасти его от его же собственной слабости, избавить от кошмара. Они не хотят увидеть его просящим подаяние на улицах. Они хотят, чтобы он вернулся к преподаванию.

— Что-то я не слышу в этом доброжелательном хоре, — говорит он, — ни единого женского голоса.

Повисает молчание.

— Хорошо, — говорит он. — Исповедоваться так исповедоваться. История началась однажды вечером, точную дату я позабыл, но вечер был не очень давний. Я гулял по парку старого колледжа, и случилось так, что молодая женщина, о которой идет речь, мисс Исаакс, тоже там гуляла. Наши пути пересеклись. Мы обменялись несколькими словами, и в этот миг произошло нечто, что я, не будучи поэтом, не стану пробовать описать. Довольно сказать, что на сцене явился Эрос. И с того мгновения я стал уж не тот.

— Что значит «не тот»? — осторожно спрашивает женщина из школы бизнеса.

— Я перестал быть собой. Болтающим без дела пятидесятилетним разведенным мужем. Я обратился в служителя Эроса.

— Это и есть оправдание, которое вы нам предлагаете? Неуправляемый порыв?

— Это не оправдание. Вам требовалась исповедь, вы ее получили. Что до порыва, так он вовсе не был неуправляемым. В прошлом я множество раз подавлял такие порывы, и теперь мне стыдно вспоминать об этом.

— Не кажется ли вам, — произносит Суортс, — что преподавательская жизнь по самой своей природе требует определенных жертв? Что ради общего блага мы обязаны отказывать себе в определенных удовольствиях?

— Вы имеете в виду запрет на интимные отношения между представителями разных поколений?

— Нет, вовсе не обязательно. Но как преподаватели мы облечены своего рода властью. Может быть, следует говорить о запрете смешивать иерархические отношения с сексуальными. Каковое смешение, на мой взгляд, и произошло в данном случае. Или о крайней осторожности.

Встревает Фародиа Рассул:

— Господин председатель, мы опять пошли по кругу. Да, он говорит, что признает свою вину, но, когда мы пытаемся получить от него конкретные ответы, вдруг выясняется, что имело место не совращение юной девушки, а просто порыв, которому он не смог противиться, и при этом он даже не упоминает о страданиях, которые причинил, не упоминает о долгой истории эксплуатации, частью которой является содеянное им. Вот почему я считаю, что препираться с профессором Лури бессмысленно. Нам следует принять сделанное им заявление по его нарицательной стоимости и выработать соответствующие

рекомендации.

«Совращение». Он ждал этого слова. Произнесенного голосом, дрожащим от праведного гнева. Интересно, что, собственно, питает ее гнев, что она видит, когда глядит на него? Акулу, плавающую среди беспомощных рыбок? Или ее томит иное видение: здоровенный, широкий в кости самец, навалившийся на девушку, совсем еще ребенка, и огромной лапицей зажавший ей рот, чтоб не пищала? Тут он вспоминает: ведь комиссия заседала вчера в этой же комнате и видела Мелани, которая едва достает ему до плеча. Силы неравны, что тут отрицать?

— Я готова согласиться с доктором Рассул, — произносит преподавательница школы бизнеса. — Если профессору Лури нечего больше добавить, я думаю, нам пора приступить к выработке решения.

— Прежде чем мы этим займемся, господин председатель, — говорит Суортс, — я хотел бы в последний раз обратиться с просьбой к профессору Лури. Существует ли того или иного рода официальное заявление, которое он согласился бы подписать?

— Для чего? Чем уж так важно, чтобы я подписал заявление?

— Это помогло бы остудить разгоревшиеся страсти. В идеале мы все предпочли бы разобраться в вашем деле, не привлекая к нему внимания прессы. Но это оказалось невозможным. Дело возбудило очень большой интерес и в результате приобрело аспекты, контролировать которые мы не в состоянии. На университет обращено множество глаз, всех интересует, как мы поступим. Пока я слушал вас, Дэвид, у меня создалось впечатление, что, по вашему мнению, с вами обходятся несправедливо. Вы глубоко заблуждаетесь. Мы, члены комиссии, считаем себя людьми, пытающимися найти компромисс, который позволил бы вам сохранить работу. Поэтому я и спрашиваю: существует ли приемлемая для вас форма публичного заявления, которая позволила бы нам порекомендовать нечто более мягкое, нежели мера самая суровая, то есть увольнение с официальным порицанием?

[Купить полную версию книги](#)

notes

Роскоши и неги (фр.). — Здесь и далее примеч. пер.

Имеется в виду разработанный святым Бенедиктом Нурсийским (480–543) монастырский устав.

«Женщина переменчива» (*ит.*) — цитируются начальные слова песенки Герцога из оперы Дж. Верди «Риголетто», известные нам как «Сердце красавицы склонно к измене».

Торговой марки (*фр.*).

Ориген (185–254) — христианский богослов и философ, родившийся и живший в Александрии, затем в Палестине.

Имеется в виду «Des Knaben Wunderhorn» («Волшебный рог мальчика»), антология немецких народных и стилизованных под таковые песен, впервые вышедшая в Гейдельберге в 1806–1808 гг.

Адриенна Рич (р. 1929) — американская поэтесса, феминистка.

Тони Моррисон (р. 1931) — американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1993).

Элис Уокер (р. 1944) — американская писательница, феминистка.

Вид лапши.

Норман Макларен (1914–1987) — канадский режиссер, главным образом мультипликатор, авангардистского толка.

Начало первого сонета У. Шекспира (пер. А. Финкеля).

Жорж Грос (1893–1959) — немецкий график и живописец, с 1932 г. работал в Америке.

Внезапного нападения (*фр.*).

Здесь и далее цитируется «Лара» Байрона (пер. О. Чюминой).

«Я обвиняю» (фр.).

Злорадство (*нем.*).